

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

В последнем ном. «Совр. Зап.» напечатан новый отрывок из «Путей России» И. Бунакова. Печата́ние их — а может быть, и писа́ние — сильно растянулось, и это затрудняет усвоение общей концепции очерков. Все же кажется, что постепенно мысль автора приобретает все большую четкость, и постепенно вырисовывается его главная задача — дать характеристику духовной структуры отошедшей в прошлое России, характеристику ее психического склада и ее нравственных устоев. Задача неизменно трудная, но в высшей степени настоятельная. В сущности, это предѣл, к которому должно стремиться всякое историческое изслѣдование. Каждый исторический объект есть своего рода *individuum*, и всякая научная работа над ним, покада она не завершается формулой, которая хотя бы приблизительно давала характеристику физиономіи этого *individuum'a*, может считаться только подготовительной работой. Но осуществление этой предѣльной задачи сопряжено с великими трудностями. Дѣло не столько в том, что «душа» коллективнаго индивидуума сложнѣе всякой единичной души — и еще вопрос, дѣйствительно ли она сложнѣе? — сколько в том, что это какая-то совсѣм иная по своей природѣ душа, иная по своему строенію, — и в такой степени, что, называя ее душою, мы в сущности уже дѣлаем ошибку, впадаем в грѣх перенесенія представлений и понятій, относящихся к одному определенному роду явленій, на другія, принадлежащія к совершенно иному порядку. Уже эта терминологическая вольность, коренящаяся в том, что наше историческое пониманіе всецѣло опредѣляется нашим самосознѣем, что мы «большой мір» строим по образу и подобию «малаго міра», нашего собственнаго, единственнаго, который нам непосредственно дан, создает для нас соблазн психологизированія, в том смыслѣ, что «большому міру» мы начинаем приписывать состояніе сознанія, эмоціи, влеченія, присущія малому — и это с тѣм большим — кажуемся — основаніем, что вѣдь «большой мір» состоит из «малых», из отдѣльных личностей. Нѣтъ поэтому ничего легче, как вообразить, что, ориентируясь в «макрокосмѣ», человѣческая личность остается «той же самою», что и в сферѣ общенія с другими, ей подобными личностями. Личность то, положим, остается «тою же самою», но ее отношеніе к макрокосму и ко всему, что с ним так или иначе связано, так или иначе его представляет, совершенно иное, нежели ее отношеніе к себѣ подобным, поскольку послѣднія отношенія не опредѣляются общей связью всѣх этих личностей с макрокосмом. Различіе природы этих двух порядков отношеній я бы опредѣлял так: только отношенія личности к макрокосму, «большому міру»,

составляют предмет историческаго вѣдѣнія, того, что можно было бы назвать историческою психологіей; тогда как отношенія между личностями, взятыми внѣ условій историческаго момента, всегда одинаковы и, слѣдовательно, вѣдѣнію историка не подлежат. Юнона ревновала Юпитера, так же, как современная жена ревнует своего мужа, — хотя сцены ревности между гомеровскими небожителями протекали иначе, чѣм в современных семействах. Все это я говорю по поводу одной стороны обобщеній и формул И. Бунакова, которая вызвала во мнѣ серьезныя сомнѣнія. Бунаков считает одним из устоев русскаго государства, тѣм, что вмѣстѣ и крѣпило и облагораживало послѣднее, «любовь» русскаго народа к царям, и потому, как он говорит об этой любви, мы вынуждены заключить, что он не проводит никакого различія между этого рода любовью и той, какую свойственно испытывать человѣку, скажем, к отцу, брату, другу. По мнѣнію автора, это было чувство такого же характера, такого же порядка. Что эта так, видно из его замѣчаній о степсиях любви народа к различным царям. Так, напр., русскіе очень любили Екатерину II, а Александра I еще больше — и автор приводит отдѣльные случаи проявленій этой любви, засвидѣтельствованные современными документами. Оставим в сторонѣ то обстоятельство, что в александровское время о любви умѣли говорить «чувствительнѣе», нежели в екатерининское — поправка, которую необходимо дѣлать, раз уже мы пускаемся в область историческаго психологизироваія: сцены народнаго «восторга» и «умиленія» у мемуаристов и корреспондентов александровской поры, использованных Толстым в «Войнѣ и Мирѣ», выходили куда интимнѣе, трогательнѣе и оживленнѣе, чѣм у авторов источников 18 вѣка: 18 вѣк был суше, трезвѣе, и вмѣстѣ торжественнѣе, официальнѣе. «Россам» полагалось трепетно благоговѣть перед «Великою», «сердечныя» же «изліянія» вводились в границы. Главное дѣло, однако, не в этом, а кое в чем ином. Автор утверждает, что любить царей русскій народ продолжал до самаго конца императорскаго періода; и вот, не говоря уже о том, что не совсем понятно, как это можно «любить» тою любовью, какую имѣет в виду автор, тѣх, кого и видѣть то никогда не приходилось почти никому кромѣ чинов конвоя и фрейлин высочайшаго двора, — неволью возникает вопрос: куда же дѣвалась эта любовь на слѣдующій день послѣ паденія царской власти? Какова была ей цѣна, если в «народѣ» ни одной слезы не было пролито о том, кого народ, по мнѣнію автора, так любил, ни одной попытки не было сдѣлано вернуть предмет своей любви? Поэтому мнѣ кажется, что правильнѣе было бы говорить не о любви к тѣм или иным отдѣльным царям, как к конкретным эмпирическим личностям, а о том **царелюби**, о котором писал Сперанскій, разумѣвшій под этим культ идеи царства, воплощавшійся в народном сознаніи в личности вѣнценосца. Мнѣ приходится сослаться на уже

однажды сказанное мною: *) у «народа», т. е. простонародья, долго держатся магическія представленія о государствѣ и государственной власти, представленія, свойственныя «религіозной» стадіи развитія, простонародьемъ изживаемой чрезвычайно медленно. Но миф о праведномъ царѣ, который изстари творится народомъ, покуда Революція не совлекаетъ покрововъ съ его идола и не являетъ въ немъ образа обыкновеннаго человѣка, — этотъ мифъ есть явленіе совершенно иного порядка, нежели тотъ, къ которому относятся чувства любви, ненависти, уваженіе, довѣріе къ нашимъ «сочеловѣкамъ». Вскрыть психическую структуру даннаго государства въ данный моментъ его исторіи значитъ прежде всего — выяснить, каковы были въ немъ въ этотъ моментъ соотношенія отдѣльныхъ слоевъ населенія, являющихся каждый въ большей или меньшей степени носителями той или иной идеологіи, опредѣленной стадіями историческаго развитія: насколько, напр., живучи въ «простомъ» народѣ первобытныя магическія представленія о себѣ самомъ, какъ коллективѣ, о власти, о государствѣ; насколько далеко зашло, въ образованныхъ слояхъ освобожденіе отъ пережитковъ этихъ представленій, смѣна ихъ представленіями, свойственными «метафизической» или «позитивистической» стадіи — и т. д. Для «царелюбія» характерно то, что оно съ трудомъ выдерживаетъ экспериментъ, производимый надъ его объектомъ: именно потому, что царь для народа есть нѣкая сверхъестественная, мистическая величина, паденіе царской власти положило конецъ — не «любви», въ общепринятомъ смыслѣ этого слова, къ царю, — а **вѣрѣ** въ царя. И поэтому проблему восстановленія государства, — для народныхъ массъ уничтоженнаго вмѣстѣ съ уничтоженіемъ царя, остающагося, можетъ быть, какъ грубый фактъ, не какъ моральная величина, — эту проблему приходится ставить, уже совершенно устраняя изъ подлежащихъ учету факторовъ и элементовъ народной жизни и народной психики такой какъ «царелюбіе». Революція кладетъ конецъ «религіозной» («магической») стадіи развитія, не давъ народу на первыхъ порахъ ничего взамѣнъ. Задача восстановленія — подготовить народъ къ болѣе рациональному воспріятію государства и государственной власти, использовавши фактъ двѣнадцатилѣтняго участія народа въ непрерывномъ массовомъ театральномъ дѣйствіи, разыгрываніи синдикалистской демократіи. Не подлежитъ сомнѣнію, что техника демократіи — то, что какъ разъ труднѣе всего дается — народомъ въ Россіи усвоена — и трудно представить себѣ, чтобы вмѣстѣ съ этимъ не было усвоено и демократическое сознаніе, которое, надо полагать, вѣдряется тѣмъ крѣпче, чѣмъ разительнѣе несоотвѣтствіе между «формой» и «содержаніемъ» государственности, какъ это имѣетъ мѣсто въ нынѣшней Россіи.

П. Бицилли.

*) Эволюція націи и Революція, С. Зап. ном. 42.